

**ЕЛЕНА ИГНАТОВА
СТИХОТВОРЕНИЯ
РАЗНЫХ ЛЕТ**

Елена Игнатова родилась в Ленинграде. С начала 1970-х годов публиковалась в «самиздате» и изданиях зарубежья. С 1990 г. живет в Иерусалиме. Автор стихотворных книг «Стихи о причастности» (Париж, 1976), «Теплая земля» (Ленинград, 1989), «Небесное зарево» (Иерусалим, 1992) и книги «Записки о Петербурге» (Петербург, 2003), посвященной истории города.

ЕЛЕНА ИГНАТОВА



СТИХОТВОРЕНИЯ
РАЗНЫХ ЛЕТ



ИЕРУСАЛИМ
2005

**ELENA IGNATOVA
VERSES
OF DIFFERENT YEARS**

Автор благодарит фонд им. Л. Я. Лившица
за поддержку в издании книги.

2005 © Copyright by Elena Ignatova

Preprinting work & design
by Valery Slutsky

valery@slutskyfamily.com

<http://www.slutskyfamily.com/valery>

Printed in Israel

For contacts:

E. Ignatova

Tarshish st. 12/144

93858 Jrusalem

Tel.: 972(2)6452412

mobile: 972(54) 5915413

el-ignatova@mail.ru

ISRAEL

ISBN 965-7250-07-2

JERUSALEM
2005

**СТИХОТВОРЕНИЯ
РАЗНЫХ ЛЕТ**

* * *

Я не ищу плюща на стене, повилики в ограде,
не вспоминает лицо о листве и прохладе,
полно о них грустить.
Ночью горит бензин, и через гранит аорты
волны балтийские бьют, высунув злые морды,
да в небесах свистит.

Благословенна будь, отчизна меча и плуга,
птицы, каленого дня, мертвого луга,
ласточки и метро.
Я не люблю плюща — он сулит разлуку,
дышащий мох найду, с отвращеньем отдерну руку:
— Сыро, — скажу, — мертво...

1967

* * *

Пьяный волк выходит на охоту,
на гулянье, на сырой асфальт.
В городском нестройном хоре нота
хрипая. Так, заглушая альт
голоса влюбленного, выходит.
Марс уже горит на небосводе,
Маркс ему кивает со стены,
бьется ветер с южной стороны.
Погоди, понюхай воздух, Ваня:
перегаром из подвалов тянет,
захлебнувшись, кашляют дворы.
Красные глаза милиционеров.
Над тобой, Любовь-Надежда-Вера,
погуляют нынче топоры.

1968

* * *

Пойдем наугад в летний град, летний свет, Летний сад,
где смешано все, где балтийские липы шумят,
там грустная дева, там чуткая дева живет,
едва потемнеет, она с пьедестала проворно сойдет
и тише укора скользит по тропинке сквозной.
О, белая Флора, да греет ли воздух ночной?
Едва ли, едва ли ты травы свои соберешь...
Меж тем пионеры и дети уже поднимают галдеж
в честь общего дедушки и баснописца Крылова
и черные цепи ограды качают сурово.
Прохладно. В аллее пустой после двух
пять юношей бледных читают Евангелие вслух,
и взгляд их так же зорок и неистов,
как на портретах первых коммунистов.
Но все же среди этой суеты
затеплены деревья и кусты,
и Летний сад на парус столь похож,
и где теплее камень ты найдешь?

1968

* * *

Мне в этом городе не выпасть из плеяды
орлов Екатерининской эпохи,
хоть вымерли они...

Да и мои дела,
признаться, плохи.

Разбег невероятный есть в граните,
и режет грань бессмертия и смерти,
живое тело делит пополам.
Орлы Екатерины, нынче — к вам!

1967

ПОДВАЛ

В. Портнову

Потребен для души подвал,
в котором зеркало слепое
качается, как с перепоя,
и кажет вместо лиц такое,
что явно — лезет на скандал.

Душа спускается в трактир,
уже в предчувствии разгула,
она хозяину кивнула,
спросонок медлит Мариула
плясать и кружевом трясти.

Как сладко мне в кругу купцов
сидеть на лавке посередке
(дымится блюдо голубцов)
и по обычаю отцов
размачивать печали водкой.

Но пенье — чудо... Расскажи,
как плачем, и как жилы тянет,
как голос бедственно дрожит,
и «степь кругом...» И стынет жир
гусиный.

И как легче станет.

Душе потребен этот стыд
трактирный, квашеное братство,
где каждый каждого простит,
и — есть обиды, нет обид —
тогда уже не разобратся.

1968

* * *

– То ли вправду запахло войной, то ли почудилось мне,
будто гривой конь взмахнул, а грива была в огне,
прогорала височная кость, и плавилась губы его...
– А на самом деле не было ничего.

– Прогорала височная кость, и пламя текло с моста,
и на новой дождливой земле не вырастет ни куста,
только с неба будет глядеть лицо обожженной луны...
– Господи, разве можно так бояться войны?

1968

* * *

О, это сумасшествие — не сад,
весь — монолог трагической актрисы.
И на траве, придавленной росой,
и на лугах, не тронутых косой,
расцвел так пышно, так разнообразно,
что это не прекрасно — безобразно.
В таком саду, где человека нет,
где лишь природа разлита безмерно,
душа тебя покинет незаметно
и только на траве оставит след.

1969

* * *

Как зацветает время у виска,
и ласточка несет фонарик света,
ее полет — как будто нить продета.
Вслепую ты паришь, не более легка,
чем долгая любовь, не ждущая ответа.

Я протяженья боли не прерву,
молчаньем оскорбишь и словом искалечишь —
мне все равно. И если время лечит,
то я в безвременье живу.

Так ласточка летит, вскрывая высоту,
прибитое к земле, так зацветает время,
но горше белены оно в цвету,
лиловым пламенем сжигает темноту,
и растворяет землю семя.

1969

* * *

Картина Брейгеля. На ней
охотники спешат с охоты.
И вышло небо зеленой,
чем лица спорящих парней,
поставленных вполоборота.
Остановись, остановись
охотник, не спускайся вниз,
и без тебя они в избытке —
приплюснутые телеса,
и надгрызают голоса
бумагу глянцевої открытки.

Добыча оставляет след.
Морозный день. Крапленый снег.
Толпа стоит на перекрестке.
Собаки лезут сквозь кусты.
У них железные хвосты
и ребра, пригнанные жестко.
Спускается охотник. Вот —
деревня. Запах дыма. Вот
он в хижине с соседом пьет.
За окнами уже темнеет.
Холщовый фартук над горой,
снег воспаленный и сырой,
детшек тупоглазых рой —
что зеленой, что зеленее?

1969

* * *

Русской сказки гусиные крылья
нам такое сулят изобилье,
что и воздух покажется вкусен.
Бедной сказки домашние гуси,
Конашевича мир шерстяной
нас помирят надолго с зимой,
с переездом в трамвае холодном
и с зарей над каналом Обводным.
Мой любимый над сказкой склонен,
Петроградский район за стеклом,
на восточный манер испечен —
то-то пряничный, то-то смешон.

1969

* * *

Не спится.
В ночной прозрачной Лете по ключицы
бредут к рассвету мокрые сады,
и матовое озеро дымится.

Не спится.
Бессонно рыба смотрит из воды,
цветок ночной со звуком отворится,
да вскрикнет птица.

На всей земле единый человек
не спит, но горько сетует, томится.
Его любовь несчастна — целый век
болеть груди, слезам горячим литься.

1970

* * *

Едва ли не с начала сентября
на парки опускается заря,
и чувствует озябнувший прохожий
проникновенье осени в гортань,
когда ее отстоенный янтарь
надолго поселяется под кожей.

Вся осень сгустком кажется одним,
а воздух в ней — основа. Недвижим,
вдыхается с медлительною болью,
и стягивает горло горький сок
небес, свисающих над кромкою лесов,
и неба полого, стоящего над полем.

Когда всю глубину его вберешь,
вороны обрываются с берез,
кричат протяжно, кружатся в истоме.
Но луч блеснет, и виден парк насквозь:
жемчужный, ветхий, барственная кость —
мерцающий на мокром черноземе.

1970

* * *

Овраги да буераки,
огни отдаленных сел,
старческое лицо собаки,
а под вечер —
веселые разговоры,
жуки и два огонька,
сена пахучий ворох,
в тумане то ли река
шумит, то ли вдали
машины мимо прошли.

Итак, поговорим, поговорим,
о том, что днем в лесу видали дым,
о трудоднях, и как живут в народе,
и что бывает странного в природе,
о будущем... И каждая судьба
уже ясна и выдает себя.

1970

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

В движеньи реки была стройность псалма,
библейских садов шелестение в елях,
в апреле уже забывалась зима,
и теплилась жизнь на вершине холма —
тянулась Страстная неделя.

— Ну что тебе Страсти Христовы, когда
и собственной боли умеешь не слушать?
— Не знаю, откуда мне эта беда —
зловещее солнце и чаша у рта,
и смертное бремя на душу.

— Ну что тебе Страсти Христовы? Смотри:
топочет весна в городском хороводе,
деревья подтаивают изнутри,
под солнцем дымятся теперь пустыри,
движенье в плененной природе.

— Не знаю, не знаю... Но эти семь дней
мерещилась сердцу больному Голгофа
среди городских раскаленных камней,
и проволока в небе, и солнце над ней.
Пустыня. И горечь. И грохот.

1970

ЖЕНА ЛОТА

- Ты обернешься?
– Нет.
- Ты обернешься...
– Нет.
- И в городе своем
увидишь яркий свет,
почуешь едкий дым –
пылает отчий дом.
О горе вам, сады –
Гоморра и Содом!
- Не обернусь. Святым
дано соблазн бороть.
По рекам золотым
несет меня Господь.
– По рекам золотым
несет тебя Господь,
а там орёт сквозь дым
обугленная плоть.
– О чем ручьи поют?
– Там пепел и зола.
Над ангелом встают
два огненных крыла.
- Они виновны.
– Так.
- Они преступны!
– Так.

На грешной нагоде
огня расправлен знак,
ребенок на бегу —
багровая звезда...
Ты плачешь?
— Не могу...
Всем поворотом:
— Да.

1970

* * *

Дрожат и плещут за окном
тяжелые поля пшеницы,
покажется — она дымится.
Дождь как стена к земле кренился,
полнеба заливают гром,
ни птицы в воздухе сыром,
и мертвая сосна смолится.

1970

* * *

Яблоко поднял в руке, а губы сказали — «Люблю»,
мы у Дворцового моста ждали рассвета,
створки моста раскрывались, давая проход кораблю,
странного цвета вода, красного цвета.

Все это я увидела, не видя, ослепнув на миг —
«Остановись, не спеши. Не слишком ли рано?»
Темное яблоко света, тяжелое солнце любви
медленно и широко плыло из тумана.

1970

* * *

Этот грустный и прекрасный мир,
легким облаком накрытый день,
только ангел над Невой летит,
серебристую роняя тень.

Слюдяное шелестенье крыл,
шестикрылое качанье плеч,
только облако в Неве лежит,
не давая остывать и течь.

Воздух млечен. В нем слюда дрожит.
Затаился обнаженный свет.
Что на сердце за печаль, скажи?
Не любовь, о, не любовь, о, нет...

1970

* * *

Когда так хочется, чтобы любили,
тогда и обмануться нет греха:
случайный взгляд, любая чепуха,
нестертый след на придорожной пыли —
все для любви. Когда же *он* не смог
быть явно для другой, уйти заране,
то к старости письмо или цветок
уже роман, уже воспоминанье.

1971

* * *

По вечеру в каверзных санках —
снежком в раскаленную пасть —
влететь в Петербург иностранкой,
письмом на ладони упасть.

Диковинный, варварски-чуждый
литой православный кулич —
все это свинцовое чудо
единым дыханьем постичь,
заплакать, смутиться... А впрочем
глаза мои — холод и мед —
такое ему напророчат,
что он от меня не уйдет.

Но пахнет бедой и утратой,
Сибирью, сводящей с ума,
и этот снежок синеватый,
и эта ночная зима.

1971

* * *

Хорош роман эпистолярный.
И то, что начиналось в нас
любовью горькой и угарной,
нежнее музыки сейчас.
В нем холодок неуловимый,
жеманный лепет и испуг,
и если я пишу «любимый»,
ты отвечаешь — «милый друг».

1972

* * *

А я тогда не поняла,
что здесь — проститься,
что возвращают крылья птице —
а тень вокзального угла
рубил лица.

Как мучился твой бедный рот,
закушен, скошен —
так друг последний предает,
и коршун в грязный небосвод,
как камень, брошен.

Кто уберег меня тогда
от горшей муки?
Я принимала без труда
гримасу горькую стыда
за боль разлуки.

1972

* * *

Разлука начиналась так:
прозрачный, в прелести нетленной,
тянулся к небу, зябнул парк,
в листве и глине по колено.

Разрыв был плавлен и не крут,
и мы еще не замечали,
что формой повторяет пруд
слезу, когда она в начале.

И становилось на душе
растерянно, свободно, сладко...
Но тяжесть смертная уже
завязывалась под лопаткой.

1972

* * *

Пустоты полночи. Земля перепревать ложится.
Лист налитой на землю пал.
Фонарик мрака — в небесах мерцает птица,
и коротко блеснет, боясь упасть в канал,
где света нет.
Теперь сырой туман
стекает по садам на каменные лица.

Пустоты полночи.
В густой воронке света
прохожий скармливает женщине тоску.
Слова расслаблены. Дымится сигарета.
В плаще блестящем он подобен мотыльку,
что к лампе прилетел и требует совета.

Что делает поэт в печальный час теней?
В Небе ночных огней качаются обмылки.
Он из дому идет, одевшись потеплей,
и студенистый свет стекает по затылку,
когда пройдет насквозь туманный Летний сад,
и тени милые к нему на свет летят...

1972

* * *

Цветут фабричные огни
по вечерам в каналах,
в июльской городской тени,
где так прохлады мало.

Там, там по вечерам
проходят косяки,
своих воздушных дам
проносят моряки,

сияет серебром
подтаявший гранит,
Нева стоит ребром
и лодки шевелит.

И ветер, как слюда,
у глаз наискосок.
Любовь, гранит, вода...
Вода. Гранит. Песок.

1972

* * *

Коловращенье воздуха и толп,
особенное у больничных окон —
свет мертвенный, метели яркий столп
передо мной на улице глубокой.

Гляжу с утра сквозь мутное стекло
на чудо общего передвиженья:
шагает человек без напряженья,
ему не больно и не тяжело,

плывет автобус с теплым животом,
движенье у лотка вихреобразно,
и все это безмолвно и прекрасно...
И я — я тоже миру сопричастна,
в халате сером. С воспаленным ртом.

1972

* * *

Лес в грозе. Растворяется в пламени лес,
подломились колени его, обгорели корни,
залит кровью кипящей, он начал свое воспаренье,
расплываясь по краю небес.

От земли отрывается — как он теперь неуклюж,
словно дымный колосс, облака разгребает руками,
вместо птиц и зверей сотни спекшихся крохотных душ
торопливо взбираясь, царапают твердь коготками.

И на место, где он, принимая конец, изнемог,
в этот дышащий пепел, единую жирную гущу
плоти брошенной — льется с небес кипяток,
и пожарище стонет, пугая живущих.

1972

* * *

Когда на деревню плещет гроза кипятком,
берег разбила река и повалено жито,
бьет Илия-пророк по облакам молотком,
а облака грузны, градом набиты.

Но открывается короб небесных сластей:
поле согреет, лесные гостинцы тешат,
и Богородица нежит небесных детей,
чинит рубахи им, мягкие волосы чешет.

Малым на радость Нисский рисует в полях
скользкий закатный воздух, потные крыши,
как молоком наливается к ночи земля,
месяц прозрачный — и самолет повыше.

1972

* * *

Там, где Владимир-город жил,
там пахари легли,
и силы из раскрытых жил
на травы истекли —
и стали велики поля,
а реки глубоки...
Ты не вмещаешься, земля,
в монгольские зрачки.

1972

ДЕКАБРЬ

Окостенелый свет расправлен в декабре,
леса оголены и стали без дыханья,
и в длинной полынье на утренней заре —
волос безжизненное колыханье.

Угóльного зрачка движенья неживы,
и тени на лице на смертные похожи.
Блестящий низкий лоб и скул монгольских швы
меж черною водой и ледяною кожей.

Восходит нежный пар — дыханья волокно,
колеблет волосы подводное движенье...
Лежит российская Горгона. Ей темно,
и тонкой сетью льда лицо оплетено,
и ужаса на нем застыло выраженье.

1972

II



* * *

Рот — словно трещина в глиняной теплой степи.
Лицо крестьянина, не расправленное ладонью.
Он говорит: «Хватит читать. Спи».
На плакате в углу тугие орловские кони.
В темном блюде степи теплится наш огонь.

Начал сердиться хозяин: «Керосина почти что нету...»,
«Погоди, — говорю, — дай дочитать, не тронь».
Теплый язык степи тянется ночью к небу.

Долго вздыхает и хнычет старик за своей занавеской,
долго не спит домашняя мошкара.
Снится: по локоть руки в мягком и сытном тесте,
и бьется в окно серьга небесного гончара.

1972

* * *

Нет нам друзей на свете. Мы с тобою вдвоем.
Ты-то не помнишь — ангел долго кружил над жильем,
в легких руках — ребенок, губы — земли черней:
«Вот тебе дело в мире до завершения дней».

1972

СТИХИ СЫНУ

1

Вечерней влагою полна листва,
на лбу — невидимая паутина.
Легко и сонно падают слова,
которыми укачиваю сына.

Едва пошевельюсь, как тень моя
скользит через дорогу. Там соседи
на лавке. Льется жизнь через края
в томительной и стройной их беседе.

Младенец спит. Он сыт и невесом,
он муравьям рассыпал погремушки.
Настал тот час, когда особый сон
с усталым телом срачивает душу
бессмертную...

В траве ворчит гусак,
сползает паутина на ресницы.
Хозяин — в доме. Бог — на небесах.
И хлебный ангел всей деревне снится.

Хлебный ангел, ангел снежный, ангел, занятый косьбой, —
все три ангела, три ангела кружатся над тобой.
Опускаются, хлопчут, целый день снуют вокруг,
только крылья разноцветные раскрыты на ветру.

Хлебный ангел месит тесто, затевает пироги,
целый день слышны у печки его легкие шаги,
хохолок мелькнет пшеничный, локоть выпачкан в золе —
ставит квас, качает люльку, чтобы мальчик не болел.

Ангел жатвы и покоса проживает на дворе,
у него лицо и плечи облупились на жаре,
косит сено, возит просо, из рожка поит телят...
Его очи голубые ночью в небесах горят.

Белый ангел, ангел снежный — холоднее родника,
твой высокий трубный голос так понятен старикам.
Что за речи на рассвете ты усталым говоришь?
Чистым снегом засыпаешь, чистой памятью даришь.

Вслед за травами и хлебом наступает время сна:
свет и холод, даль и небо, расщепленные до дна,
слабый шелест, сладкий голос, ангел ледянее льда.
Врачеванье легкой болью — всех потерь, всего труда.

1972

* * *

Сиротской материей в узлах — в буграх степь.
Стерплю ли долгий проезд — невесть куда,
или споткнется конь, и потечет руда
из тесноты — по тележной оси — в степь.

Какой это стан тебя выткал — ни дыр, ни ран,
к самому морю свесилась — грубый плат.
Один орел, ковылей твоих партизан,
во всю ширину степи отворяет взгляд.

И сколь по задумке простор твой матер и прост,
столько богато небо — ковровый край,
узорочье счастья. Ночью светло от звезд.
Над сухомятью Руси персиянский рай.

Пери голубоокой манит восход рука,
катит на закат чубатая голова...
Тука бараньего, трепета мотылька,
люлек казачьих — сколько таит трава.

1973

* * *

Медногубая музыка осени. Бас-геликон
кружит медленным небом. И колеблем, осыпан листвою,
проплывает военный оркестр в мокром воздухе
по-над землю,
чуть повыше дождя занесен, накренен.

Скажет музыка: «О-о-о...» — и отступит фонтанов вода.
Так застыли тритоны, что губы у них леденеют —
не сомкнуть, не ответить оркестру.
Он медленно реет,
медью призрачной греет...
Дрожит за плечами слюда.

Что ж, российский Версаль? Нам достались
из той стороны
этот парк щегольской, да надрывное слово «блокада»,
и не кроны деревьев — голодные ребра войны,
не эоловы арфы, а песня смертей и насада.

Сеет дождик... и плачу. И с криком летит «метеор»
вдоль оставленных парков. Угрюмо спешат экскурсанты
мимо братской могилы фонтанов, каскадов, озер,
мимо музыки — вниз головой —
растворенных дождем
оркестрантов.

1973

* * *

Город черен и точён белой ночью.
Город, я в тебе горю червеной точкой.
Как по вражеской земле, пугаясь шага,
мимо каменной гряды — по оврагу.

Пусто. Чисто. И газоны не дышат,
лучник бронзовый прищурился в нише,
ветер носит запах конского пота.
Зверь ощерен. Камень голоден. Охота.

Жаден жертвенник на Марсовом поле,
кони бронзовые бродят на воле,
в небе бьется пузырем птичья стая,
ходит алая вода под мостами.

Город, город, обезумел, ярится:
в новостройках чудеса реализма —
кто с отбойным молотком, кто с винтовкой,
баба с каменным снопом в изготовку.

Мокрым мрамором в траве — чьи-то пятки...
Город — выследил. Бегу без оглядки,
скрежет двери в темноте —
ох, не вскрикнуть!
Затаиться. Отдышаться. Привыкнуть.

Запах бедности,
недавней побелки...

1973

* * *

Все протяженье брошенной столицы
вмещается в единый перелет
чирка болотного. Но страшно сельской птице
на празднике огня и света появиться,
и воздух нежилой над городом течет.

Здесь каменный народ, который целый день
карнизы подпирал, стоял в неловких позах
на крышах — он дает себе короткий роздых.
Простолюдин античный любит лень,
игру в щелчки, катание на козах.

Пока мы заперты в свои дома,
пока мы беззащитны перед снами,
мелькают пятки бронзовые,
ходят кони табунами...
И улица легла,
обнажена
перед ночными плясунами.

1973

ПАСТОРАЛЬ

На немнущихся лугах,
где нежнее влаги зелень,
пастухами плащ расстелен,
кнут и дудочка в руках.
Кнут и дудочка в траве,
лапти из ольховой кожи,
клевер буйствует. И — Боже —
небо льется к голове!

Там, где легкие ручьи,
пляшут ноги без обуви,
в горловину праздной дудки
заползают муравьи.
У кустов блестит роса,
стадо засыпает сладко,
два козла играют в прятки,
пастушок румяной пяткой
улетает в небеса.

1973

ЛЕТНИЙ САД

1

Ты зачем, Летний сад, припадаешь к губам,
в полоненьи души обретаешь свободу,
кроме голоса, что я тебе передам?
Но тебя обучает жестоким стихам
ветер, что разорвет древесные своды.

Начинается утро корявых небес,
облака поражает припадок боязни.
Здравствуй, здравствуй,

зверинец постылых чудес:

чугуна тирания и каменный лес —
мы готовы для праздничной казни.

Начинается утро — и сад освещен,
он кренился к воде в исполинском замахе,
он сверкает, как лезвие над палачом —
но мы неуязвимы, мы тоже живем
и в Неве не полощем смертельной рубахи.

Дроги твоих мастеров,
судьбы людские — все мимо,
страшен бессмертных удел.
В зимние ночи, о сад,
ты покинут стоишь, нелюдимый.
Камень улыбчив и бел.

Или мы тени тебе,
скользим с шелестеньем бесплотным —
бренного мира слюда?
Трубы оркестров парадных,
краски гуляний народных —
не отражает вода.

Но никогда мне с тобой,
никогда не проститься,
эта любовь без утрат:
черные сети ветвей,
на которых не селится птица,
не остывающий сад.

1973

* * *

Подняла незаметно голову и увидела — золотой
горький луч оперенья голубя в высоте прошел надо мной,
раскачался, гудел, витийствовал между солнцем и лугом
шмель,
и вливался свет сквозь батистовый, тонко выделанный хмель.

Да, так было, и изумленная, в первый раз увидела я
все — глаза твои удлинённые, скулы теплого янтаря,
пыльный свет, золотое марево наполняло ладони твои —
так услышала я подаренное слово медленное любви.

1973

* * *

И – кончилась смерть. Снова запели птицы.
И не хотелось душе с мертвой водой родниться.
Зеркала слепота. Плачущих глаз криницы.
Здравствуй, шум луговой, каменная земляница.

Этот полет сквозной – как побег из неволи.
Глядя тебе в лицо, впервые не знаю боли,
выиграна любовь – и не полслова боле,
я оставляю тебя, но не твоею волей.

Выиграна судьба. Всем вопреки играла.
Время проститься. Мне руки трава ломала,
ворон облатку нес. Целую ночь стояла
горькой воды река – сердце мне размывала.

1973

* * *

Нынче судьбу мою переходишь вброд.
Долгий глоток свободы.
Наша тюрьма цветет,
полами стали своды,
милый со мною рядом.

Знаю, что впереди —
крестная мука прощанья
и озлобленье разлада.
Так монотонно счастье...
Нынче зарыт в груди
камень «Забудь».

1973

* * *

Лето. Солнечные плесы. Ветер на полях.
Начинаются покосы, грозы в тополях,
в грязном озере лягушки, косяки мальков,
под кроватью у мальчишки банка червяков.

Лето. И ослепло сердце — ни судьбы, ни пут.
Кто мы? Брата или деда в рекруты сдают?
И ответят: «Вы в России. А запрошлый год
о войне в Ерусалиме толковал народ».

1974

* * *

Когда волхвы не зажигали свеч,
толпились робко, зябнули у входа,
когда уже затих младенца плач,
и смущена, еще бледна от родов,
молчала мать, склоненная к нему,
то мирный хруст овса, дерев ночных скрипенье,
да мерный снега ход, да в котелке кипенье —
вот звуки первые в младенческую тьму.

Когда под нищий свет одной свечи
к босым ногам Марии на солому
сложили свитки шелка и парчи,
сосуд серебряный склонили к золотому,
заплакала Мария, не стыдясь.
Залог Его пути, дары сверкали жестко,
казались щеки детские из воска,
крестообразно тень кидала коновязь.

Мария плакала. И Рождества звезда
склонилась низко в небе. И с поклоном
волхвы простились. Длинная чреда
усталых всадников тянулася по склонам,
метель водила по снегу пером.
Но был спокоен вид и выдох детский,
и праздник звезд над краем Вифлеемским —
все детством показалось и добром.

О, Рождества блистательный приход!
Бессмертного младенца пеленанье!
Земля, как роженица, сына ждет:
метели вой, разверстое дыханье,
и полночью с холмов стекает пот.

Там за стеною, в ледяной пыли,
за небесами, за звездой алой
глаза другой роженицы — земли
следили и счастливо, и устало,
не веря обновленью своему...

Смотри, Мария, видишь, голубица,
как счастливо земля себе дивится,
и это чудо — Сыну твоему!

1974

* * *

На болотистой почве
в обветшалых домах
сельсовет или почта,
баня или сельмаг.
Выше — теплая туча
пожелтела с краев...
Я не знаю, что лучше —
это детство мое.

Там пространство раскрыто,
как пустая ладонь,
небо к ночи налито
золотою водой,
кротко потными лбами,
словно дети к окну,
избы, клети и бани
припадают к нему.
Их землю заносит,
прибирает во тьму,
и никто не прокосит
путь к крыльцу моему.

1974

* * *

Ничего не проси у страны – ни любви, ни суда,
первородства души не заменишь ее чечевицей.
Сколько можно, несу непосильное бремя труда
соглядатая, очевидца.

Робкий шепот окраин, столиц заговорщицкий шум
чуть колеблют и дразнят листы летописного свода,
но как тайный судья, соучастник судьбы, тугодум –
вывожу на полях неизвестное слово «свобода».

Не возьму ни гроша и ни капли вина не пролью
в причащеньи судьбы ко стыду нерастраченной силы,
к нерожденной душе, к одиночеству в отчет краю,
к этой грязной бумаге, где жизнь изошла на чернила.

1974

* * *

В. Ширали

Мы выживем, не вырем от беды,
угарный дым нас не отравит,
в дни голода душа сорвет плоды
из сада памяти. Цветущие сады
она без сожаленья стравит.
Не умереть бы.

Ледяной воды
нам память милосердно ковшиком ставит.

Мы выживем. За счет прошедших дней,
бесслезных лет, садов любви железных,
и потому, что нам жилось черней,
чем в яме пустозерской. Столько дней
мы берегли остывший, бесполезный
глоток тепла из памяти своей.

1974

* * *

В город Пушкин поедem, друзей навестим, посчитаем потери.
Здравствуй, дом невысокий, рогожей обитые двери,
рыхлый свет за окном до полуночи станет светиться,
загребает крылом царскосельская древняя птица.

Голубь мира над нами дряхлеет, тучнеет, кружится,
разрушая фонтаны, студеной катит водица,
этот строенный парк – к декабрю только остов да балки,
купол церкви горит булавою дамасской закалки.

В город Пушкин поедem, а в полночь вернемся оттуда,
голубые шары принесем, потеряем у пруда,
водкой горло сожгло или воздух сомкнулся железом –
нет дыханья в груди на пути окровавленным лесом.

Вот он, осени дом, обнаженье древесного сердца,
кривизною страданья отмеченный рост страстотерпца,
бестелесны в лесу, мы застыли у самого края,
он бредет мимо нас, алый пот с облаков отирая.

Помнишь пламя дерев, пепелище остывшее луга,
непросохший бетон, горизонты смыкающий туго,
хруст сучка под ногой, нашатырь, восходящий над парком,
иностраннЫй автобус, заваленный набок под аркой.

Я рассталась, срастаясь навек с этим городом ветхим
под неслышным дождем, под галдящею галочьею сеткой,
из какой глубины я услышу однажды: «Пора мне»?
Парк. Аллея. И смерти прибрежные камни.

1974

«Прочтите же!»

Перекрывая век
палаческой скороговорки, тленья:
«Промчались дни мои, как бы оленя
косящий бег...»

Петрарка слушал. Гостя скорбный лик,
иноязычья грустные немоты —
но сколько «а» и «о» таит в себе язык,
но стрельчатого слова позолота!

Когда стемнело, свет из облаков
осеребрил сидящего поэта,
но этот странный вестник из веков
с Петраркою почти сравнялся светом —
и шире, ярче света полоса...

1974

* * *

Век можно провести, читая Геродота:
то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то,
но выцветает кровь...

В истории твоей –
оливы шум, крестьянский запах пота.

Мельчает греков грубая семья,
спешит ладья военная в Египет.
Мы горечи чужой не можем выпить,
нам – только имена, как стерни от жнивья,
а посох в те края на камне выбит.

И где она, земля лидийских гордецов,
золотоносных рек и золотых полотен,
где мир в зародыше, где он еще так плотен,
где в небе ходит кровь сожженных городов,
где человек жесток и наг и беззаботен...

1974

* * *

Вот и ты возвращаешься в благословенную землю.
Пахнет воском и вереском в старых московских церквах,
там, где у Богородицы плечи в узорных платках,
где прилежные лица святые к высотам поднимают,
где багровое золото гневно горит в небесах.

Да, и ты возвращаешься, перегорев до конца,
ничего не жалея из жизни, разменянной мелко.
— Вот я — наг и безроден...

Материнские плечи померкли,
и печалью полна драгоценная чаша лица.

Возвращаешься в трудный круговорот бытия,
в жернов мельничный.

Гулит вода, уходя из запруды,
мальчик гонит козленка, и мать его шьет у ручья,
и тяжелого света стекает на жернов струя.
Все — в начале пути, в ожидании чуда.

1974

* * *

Я на улицу выйду. Смердит.
Пот рабочий стекает с трамваев,
важный гость на «Аврору» спешит,
черным бесом метнется, пролает.
Светлоглазый ребенок со мной
(тихий шаг в институтские парки),
пламя прелести кроткой земной
на лице его светит неярко.

Повторяй же: «В провалах, в крови —
словно ласточек гнезда слюною —
силой неуголимой любви
материнской — скреплен надо мною
свод небес». Этот город прими,
заповедник советской России:
жесть и известь, секретных НИИ
низколобых — подъезды пустые.

Начиналась застройка с тюрьмы
и с дворца, где не видно хозяев,
у реки, над которою мы,
как бескрылые птицы, играем.

1974

* * *

Слепой пастух и каменные овцы.
Дымят овраги, вырытые солнцем,
праматери-земли по ним стекало млеко.
Вот наших судеб край:
овраги да колодцы,
мочи овечьей стойкое болотце,
солончаки да степь —
и до скончанья века.

Наверно, души те, что выгнаны из плоти,
здесь коротают век в забвенье и дремоте
до новой бренности, до будущей тюрьмы.
Заквасят молоко для старика слепого,
овечью шерсть прядут. И забывают слово,
постылый речи плен, в котором вечно мы:

«Земля, не отнимай моих любимых!
Вода, не отбирай моих любимых!
Пойдет моя душа, растеряна и боса,
туда, где есть подруги ей...»

Спеленут сыр травой,
старик качает мертвой головою,
солончаки в степи — как пыльные колеса.

1974

* * *

Мы выехали из лесу. Вповал
в телеге спали дети. Сонный ветер
распаренные лица обдувал,
и неба край, уже горяч и ал,
сиял сквозь ветви.

Еще к деревьям прирастала тень,
ночная птица медленно летела,
и мальчик мой, похож на всех детей,
зарывшись в сено, спал на животе,
и прядка на виске его вспотела.

Цветущая лесная колея,
тихоня-конь, разморенные дети,
и голубое поле льна в просвете...
О, будь благословенна, жизнь моя,
за то, что ты дала минуты эти
пронзительного счастья бытия!

1974

III



1

И русского стиха прохладный, влажный сруб,
звезда под крышкою чудесного колодца.
Смотри, как плещется, кипит у самых губ
вода бескожая, а в горсти не дается.

Но если в августе разомкнут небосвод
и мокрой чернотой размыты дали,
кастальская вода в ключах твоих поет
настояем бедности бессмертной и печали.

Ты увидишь монгола в коровьей одежде до пят
и степных мудрецов, испытавших, горят ли божницы —
отшатнется Рязань, закусив окровавленный плат,
и волчица придет в городище разбитом щениться.

В чем твое искупленье, земля? И отчизной затем
ты зовешься, что емлешь детей своих кости?
Ты — земля без конца, безобразное месиво тел,
но сияют глаза матерей у тебя на коросте.

И за то, что я тоже паду в этот стонущий прах,
и за то, что с рождения в сердце полынное семя,
дай мне только надежду, прощальную соль на губах,
что не станешь ложиться лицом под татарское стремя!

Что болтаю? Какое мне дело до этих людей?
Отпусти меня, мать, позабудь меня, дай мне укрыться!
Только бы не упасть между этих могильных грудей
и водою подземной во чреве не колотиться.

Сидят большие мужики,
их бороды клинообразны,
в глазах зимуют светляки,
а руки праздны.
Концерт по радио — и он
надоедает,
ребенок тощих комаров
под лампой давит.
Смоленщина — в моей судьбе
больные звенья:
ты чернолесье, ты любовь,
погост, где брат мой спит без снов,
и мать — без утоленья.

Из ночной столицы кукушка,
да клопа жестяное брюшко.
Захолустье. Холуй в дверях
исполкома — дрожащ и перист.
Ключевая ненависть, пенясь,
перебраживается в страх.

И всей-то радости — отросток сна во льду,
под валерианой сердце зарастает...
Но кто произнесет анафему труду
и наши судьбы отквитает?
И кто, в крови запястья утопив,
нас вычленит из человеческой хляби,
какая помесь: Соловьев-Алябьев
анафему положит на мотив?

Смотрят ясно и важно дети:
диктатуры грузила, сети
миновали — еще малы.
Сушь. Без хруста изломы тени.
И кипят под окном сирени,
как котлы осадной смолы.

* * *

Могила Батюшкова в Вологде.
В граненом холоде
воды летейской — в небеса зрачок.
Над нею — коченеющий сверчок —
сквозь провода — луна.
Мертв монастырь. И черный остов сна
топорщится над головой безумного поэта,
а под землей серебряная Лета
испита до конца, испытана, воспета,
погребена...

В монастыре армейский склад снарядов.
Топочет часовой по вымерзшей земле
нетопырем. В заснеженной золе
под ним чистейший перл, словесности отрада —
поэта мучит сон о теле и тепле.
Спит Батюшков. В истлевшем сюртуке
личинка ждет весны. В земле идет движенье,
могильный холм устал от напряженья
быть выгнутым, ополз... Солдат невдалеке
услышит плеск воды. На Вологде-реке
лед треснет, обомрет, начнет движенье.

И вот на стертый лед, под пресную метель
тьнь сгорбленная из могилы выйдет.
Не Батюшков ли та источенная тень?
Чернеется в горсти разбитая свирель,
он воду черпает у монастырских стен,
зияет рот, искривленный в обиде...

1975

НОЧЬ В ФЕРАПОНТОВО

поэма

I

Монастырь над водою. Пол-озера ясного страза.
Неприметно для глаза темницей становится мир.
Сорвалась, покатилась звезда. Опрокинулась. Тонет.
Это стражники наши, что заживо ночью хоронят,
фонари засветили над ямой и начали пир.

Белым платьем подруги отмечен мой дом в темноте.
Темный глаз. Черный рот. Запечен уголек папиросы.
Осечется огня корешок. Слышишь, баба поет,
смотрит в прорубь окна, негустые распутает косы,
загадает незнамо чего и следит, как звезда упадет.

Засыпаем. Слышны два дыхания смежных во тьме.
Как истерты черты, как лицо у тебя обмелело,
на цветной простыне невесомое, слабое тело,
с перевязкой луны на глазах, обращенное сонно ко мне.

II

Что же мне в сон не войти?
Душно, застошно в груди.
Дух глинозема, болот,
или рябина цветет?
Лазарь гниет.
Здесь, в развороченной тьме,
Лазарь лежит.

Сердца коснись моего,
зренья коснись моего,
страшную память сотри —
Лазаря ложе делить.
Видишь, мерцает лицо —
фосфор внутри.

Серый налет на виске,
холод в бескостной руке
кто исцелит без следа?
Рыбу на мокром песке
света покрыла слюда,
и прибывает вода.

III

Спит моя девочка
Лазаря каменным сном.
Ночь переходит на слом,
и освещается дом
ярким огнем без огня.
Дышит прибрежный песок,
крашенных бурых досок
не задевает ступня.

IV

Кто это всхлип на воде
лечит и правит ладьей?
Это святой Ферапонт
вместе с Кириллом плывет,
не возмущая веслом
зеркала вод.
Озером. Озером — и
в дом у дороги вошли.

«Брате, коснись косяка!»
Чуть потянулась рука
к двери — упали замки.
В сенцах уже старики.

V

Охрой, багрянцем и привозною лазурью
так изукрашена фреска Успенья!
Кругом скорбящие встали, чистые брови нахмуря,
но как сияюще спит она — словно и не было бури,
ангела смерти — одно ликование и пенье.

Все удалось. Все сбылось.

Мы глядели блаженно и чинно
на белоногих коней Рождества, на успенское ложе,
отблеска хоть ослепительной этой кончины
в час, как задуют свечу, подари ты мне, Боже!

К озеру выйдем искать Дионисиевых красок
или на Цыпину гору отправимся лазать,
Галя, ты помнишь ли кокон холщовый
и мертвых два глаза
притчи о Лазаре?

Все-то мне помнится Лазарь.

VI

Ночь на сломе. Света, дайте света!
Воздух скатан в свиток. Провисал
небосвод над ямой. Гнило лето.
Раскаленного рябинового цвета
фресок — стены пересекали пояса.
Я прощалась с миром. До рассвета
оставалось полчаса.

То ли воздух, шевельнувшийся в иконе,
то ли бузина в слепом наклоне,
то ли запах мяты, муравы
сердцу помогали жить в истоме.
И светились два венца в проеме
двери — две прекрасных головы.

VII

Что тебе снилось?
— Крест и костер,
после — большой монастырский двор,
бьют мужика батогами,
в озере остров насыпан крестом,
Никон опальный грозитя перстом,
меряет остров шагами.
Было знаменье — никто не видал:
крест, как шиповника куст, зацвёл,
роза пылала на стебле тернистом,
в смерть глубиною была глубина,
но из нее я возвращена,
вырвана — силой молитвы к Пречистой!

VIII

Горяча молитва — солнышко зажгла,
на землю росой оседала мгла,
пискнула синица, дрозд прощелкал внятно.
— Ферапонт, мой брате!
— Да, отец Кирилл?
— Ты своей молитвой душу воротил,
поспешим обратно.
Оползла личина, проступает лик —
кажется, прекрасней не было в тот миг,
не было румянца — ярче, кожи тоньше...
Старики к крылечку, а засов в скобу,

в поясном поклоне бузина в саду,
ликованьем птичьим закипает роща.
Сквозь туман оглохший – выдохи воды,
на траве примятой – узкие следы,
осиянны светом небеса без края,
и сверкает золото в небе и воде,
тлению и мраку не спастись нигде,
вся земля в молитве дышит и пылает...

1975

* * *

Вот кольцо с малахитом. И в каждой прожилке — зима.
Я гляжу в эту сонную твердь, холодея сама —
знал ли ты засыпанье, не чающее воскресенья?
Перетянуты бедра суровой ниткою сна, коченеет язык,
и в гортани черно. И не мой ли счастливый двойник
обретает наутро нестойкое раннее зреньё?

А еще в малахите моем незлобивая смерть:
белоглазые щелки и черно-зеленая твердь,
знаки тленья и плесени, но безупречна огранка.
У моей ли судьбы во все очи лазурь без зрачка?
Щедро дарит она, а в конце — ледяного щелчка,
как ударом ствола добивают подранка.

Перегонкою крови в слова не избежнешь земли,
не взойти в небеса в изумрудной горячей пыли,
только камень и кровь, и спокоен стрелок на охоте...
Я гляжу на кольцо: сколько жилок белесых пришлось
на зеленое поле — его изглодали насквозь,
как прозрачные черви в своей потаенной работе.

1975

ПАМЯТИ ДРУГА

Б. К.

1

Смерть — домовитая ласточка. Каждому сору
и мимо-
летящему трепету крылышек ведает место и вкус.
Тоньше соломинки ставший — любимый
ею настигнут и спрятан в сияющий, плачущий куст,
в страшном гнезде предрождественской муки хранимый.
Я не увижу ни глаз его больше, ни уст.

Я ли бессмертье сулила? И на траве в подмосковье
помню разрез удивленный глаза и радужной — тьму.
«Любишь?» — начавшись, записка кончалась: «с любовью»,
замкнутый круг образуя. Кружилась моя голова.
Кончен пробег. Ты умрешь голодающей кровью.
Я разлюбила. Жива.

О, на земле, под землей, оплетенная сетчатой тенью
что прокричит сирота, чтоб оттянуть переход?
Что отыскать суждено в посмертном пылающем сене?
Только игла уколола... И открывается ход
из глубины. По ступеням
он подымается,
слабое пламя несет.

И вот очнулось нищее страданье,
уже не помня, причитать по ком,
но слабый гласный пар под языком,
растенья слов, излучины молчанья
пугали, оплетали душу — и
гремело небо, облетали листья,
когда пытались губы о любви
проговорить, а робкий ум — промыслить.

Я поняла, разбившись о края
сосуда боли, кремниевой чаши —
срастается за ними жизнь моя,
и никогда уже не будет — наша.
Так полузахлебнувшийся зверок,
еще цепляясь за ковчега днище,
не видит, что его звериный бог,
когтями раздвигая воды, ищет.

1975

СТИХИ О МУЗЫКЕ

1

Зачем свирель доносится в окно?
И разве могут певчие сосуды —
все дудки, желобки, сверкающие блюда —
вместить души печальной пение, покуда
ей выздороветь не дано?

О чем свирель у путника поет?
Он покидает дом гостеприимный,
и девушка счастливо и повинно
глядит в глаза, тугие косы вьет,
волну волос деля на половины.

И где свирели место в этот час,
когда луга полны живым кипеньем,
когда душе не занимать терпенья,
и девушка, пьяна лукавым пеньем,
спешит домой, не замечая нас?

Итальянец Марчелло, ты сладостным воздухом дышишь,
то биенье воды ключевой, то посвист пастуший услышишь,
то подругу окликнешь, а голос потонет в тумане,
то припомнишь, как ветер гуляет в дырявом кармане.

Как весло на реке, как трава под косой захлебнется,
тотчас вскрикнет гобой, и валторна ему отзовется,
«Кто полюбит мое почерневшее грубое тело?» —
спросит полночь у сада, и голос ответит: «Марчелло!»

Кто Марчелло полюбит? Чье сердце затронешь, бедняга?
Ты у дома стоишь, но не сделаешь к двери и шага,
то поденщик поет, то красотка крадется от мужа...
Мимо... Мимо... Как больно. И музыка кажется вчуже.

1975

* * *

Марсия дудкой клянусь, Марсия кожей,
тою кифарой, что нынче разбита, увы, —
нет ничего пустотелого слова дороже,
хвойного звука ручья, вечного шума травы.

Детская спесь у сатира — мохнатую голову лавром
он увенчал, и свирель, что Афиною гневно
брошена (ибо игра искажает черты богоравных),
он подобрал и дудит. И рожа его вдохновенна.

Что же — не тем ли мы платим: лица искаженьем и цели,
рабством гордыни, клейменьем любви без ответа
за мусикийские игры, за хрипловатые трели
дудки богини, с рожденья подобранной где-то?

И воздаст Аполлон — за целую жизнь в перегонку:
мертворожденная кровь стекает сведенною мышцей,
дудка, раздавлена болью, всхрипнет еще еле слышно,
лира звенит из травы — эхо негромко...

В эту судьбу я гляжу и вижу, как каждая капля
крови, упавшей в песок, бормочет и учится пенью,
и повторяется вновь древнее это сраженье —
звуки небес вперемежку с воплями из живодерни,
дудка в горсти у младенца, певчество и нетерпенье.

1976

* * *

Я говорю: мой птичий профиль жалок,
седеет соколиное перо,
а ты прекрасна. Яркий полшалонок
в морозном воздухе сверкает, как осколок,
и снег хрустит: «добро, добро, добро...»

Запомнила — январь, крещение Сына,
купель бездымной голубой воды,
морозный ветер, посвист соколиный
и маленькие девичьи следы.

Безгрешен поцелуй крещенской ночи,
и режет вены лед реки больной,
горит вода в серьгах твоих сорочьих,
а туфельки ступают все короче
московской зачумленную землей.

1976

* * *

Грубо отесан и опоясан собор
туфом узорным. Мы из Армении сонной
ехали к северу. Помню ее непреклонный
камень, и ржавое солнце, и небо — в упор.

Правду сказали: нашим красотам совсем
с великолепием древним нельзя становиться и вровень,
но тосковать по безродным полям, по овинам без кровель
кто научил и излечит когда, я не вем.

Ближе. Больнее. Речка под серым дождем,
шесть над водою — так иглы втыкаются в вену,
тело родимой земли горячо и нетленно,
и серебристые шрамы дороги на нем.

Вот и Москва, где радищевский углый возок
выловлен сетью дождя и подтянут до тучи.
Чудище обло, огромно и воет по-сучьи,
насмерть укачан российской дорогой ездок.

Крови костер угловат. В пепле осенних болот,
вспоротой пашни — жизнь вытекает по капле.
Трудна добыча дыхания, воздух разграблен,
каждое дерево судорогой тайною бьет.
И остывает вагон....

1976

СПАС - НА - КРОВИ

Теперь скажу: тяжеловесный Спас
поставлен на крови царя и террориста —
сюжет трагический. Но отчего ребристый,
лазоревый, глазурный, в завитках,
собор сверкает весело для глаз?
О, Александр большой, о, нищий Гриневицкий!

Две горсти праха спорят до сих пор:
— Тиран, душитель, если б знал ты тяжесть...
— Дурак, мальчишка, если б знал ты тяжесть...
Но общая их повенчала тяжесть —
оплывший цветом, лакомый собор.

Ай, молодцы художники России,
отпраздновали, счистили, замыли,
любая кровь — фундамент для искусств.
И молодцы сапожники России,
собор под склад сначала запустили,
потом взорвать хотели, да забыли...
И он стоит теперь, смертельно-пуст,
неясный символ, странное творенье —
храм Светлого Христова Воскресенья.

1976

* * *

Лепесток горбатый розы,
мышка за хвост продета в петлицу —
петиметр болотной столицы,
вот твой портрет.
Комната на рассвете —
из дома сирот. Кирпич, подрубленный косо.
Вечный ответ в вопросе:
— Ты меня любишь?
— Как никого на свете! —
Вопрос в ответе.

В чайное блюдце зимы мы дуем вместе,
ее узоры легли на сердце.
Режу из черной бумаги профиль. Сердятся
твои губы под мягким нажимом ножниц.
«Приснися, жених невесте!»
Приснится. Позже.

Петиметр болотной столицы
и насупленная девица
стоят под Петропавловским шпиком,
глядят на весну сурово.
Я тебя позабыла.
Помню, что имя было
детское: «Лева».

1976

* * *

Детства опара.
Ветрянки зеленый цветок,
да на воде подсоленной — тюря.
Выйдешь — торчит во дворе «воронок»,
наши мужчины охочи до тюрем.

Дом. Дом,
немцами строенный дом,
влажный барак.
Можно купить за пятак
завиток из пластмассы,
можно до ночи кататься
на карусели железной.
Мы засыпаем без слез —
девять душ в конуре. Тесно.

И среди нас расцветают искусства:
вот инвалид — гнет подвески для люстр,
есть и художница — голод и юность,
бант голубой, нежно-серая кожа.
Тридцать рублей — нарисует портрет маслом.
Нарисовала меня
на кошку-копилку похожей.

Родственник-летчик к нам залетел сгоряча,
морщился — мы неприглядны.
Куча угля за окном, пятна на потолке,
да голубые глаза на стебельке

узкого личика. Кожа в зеленке, ветрянке...

— Кем же ты будешь?

— Прачкой! Такие красивые тряпки! —

И ослепила — надежды птица в руке.

1976

* * *

Пусть доплывет пловец,
и ты избеги ночи,
сверкающая капля мира — стрекоза,
пусть слезы вызывает на глаза
воды блистанье талой из обочин,
сиянье острия в руке косца.
Я славлю полноту и онеменье
полей, раскрытых небу в октябре,
рождение ребенка на заре,
момент, когда застыло на ребре
прекрасной жизни зрелое мгновенье.

1976

* * *

Вот я прямо иду, на север. Морошка, корни,
больно, больно ступать! Болото тебя прокормит.
Затянуло крапивой заброшенный лагерь, вышки,
на Египет спешат эти птицы, из речки вышли.

Оперенный иероглиф летит — а зрачки вдогонку,
вот я прямо, на север, а смерть отошла в сторонку,
сердце ищет смоленских трав — валерианы, мяты.
Духом нищие на земле — перейдя, богаты!

Я богатство свое раздарю, расточу заране,
а болото прокор... А там не ступай — поранит,
а тропинки не бой... Сойди же, о ради Бога!
Слава Господу, призывающему нас на Его дорогах!

1977

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Слобожане, ау!
И Расея провояет: «Ау!»
Шевельнется казненный во рву
и, обрубками рук приминая траву,
подроставшую к сердцу, промыслит: «Ау,
схороните в земле!»

Слобожане, ау!
Вот Отрепьев Григорий лежит на столе,
с ним личина, волынка и дудка в золе и венозной крови,
и по смерти глаза влюблены
в непросохшее небо.
Развейте мой прах на ветру,
слобожане, ау!

Прячет в ряске монах
приворотное зелье и склянку румян.
Опоят его скверные девки, ограбят,
в единых штанцах
он очнется в навозе.

Но Пименом этих времен
он останется в наших умах.

По сверчку и шесток.
Околевший Четвертый Иван
объявился в палатах своих и прежалостно выл,
патриарх там водой покропил —
душегубец пропал.

* * *

В воздухе пахнет жильем.
Пани Антося горбится за шитьем,
воздух иголкой ранен, холст пробит через край,
карий и золотой мальчик в ногах играет,
и я говорю: «Голубь, к нам прилетай,
нищему, голубь, подай!»

Время проступит чернью на серебре,
выйдешь умыться — снег захрустит в ведре.
Как молоком разбавленный крепкий чай,
бурое солнце взойдет и помедлит час,
новые твердь и землю скует мороз —
звон ото льда и звезд.

Так не забудь же мира на трех китах,
темного тела речки в широких льдах,
всех, кто живет под кровлей, и вербы куст,
беды, суеты наши — и эту грусть:
слышать — лепечет небо и дышит наст,
знать, что волхвы пройдут, не окликнув нас.

1977

СУДАК

1

Странный пейзаж открывается разуму духом узрящим:
редкий бесцветный кустарник и камень горячий...
Нет, это снег Рождества, белые кровли,
дольный дымок слюдяной, стадо под кровом.
Жирной разводы воды под коромыслом,
бледное масло горит в воздухе чистом,
в иглах, цветах ледяных лба полукружье
детского — через стекло вижу снаружи...
Клавдию голос зовет, и отзовется
звонкий подойник в хлеву, цепь у колодца.

Нет, это все-таки Крым, Сурожа древнего холм!
На плоскогорье полынь о былом своим твердит языком,
стрелы под нею и кости, давние гости и глина —
впрочем, растет все едино.

Рядом немецкое кладбище, в прах запечен колонист,
рыхлая почва, аптекарь, мята над ним, остролист;
стрелы, костяк, черепица сгорблены в общей земле...
Что тебе делать, живая, на погребальной золе?

Вижу высокий костер, где исчезал Одиссей
(мира окраина. Время спит в штелевой полосе),
жирные хлопья летят, мясо паленое пышет,
пес его, сидя впотьмах, жадно и жалостно дышит.

Темное, темное тянем питье из остуженной чаши.
Полночи ясный светильник стоит над водою,
радость не вспугнута, тело еще молодое.
Как прохрустят голыши и песок прошумит по поддонью,
если очнуться, вскочить, если выкрикнуть: «Наши!»

Я начинаю движением губ превращенье созвездий
в шитую знаками шерсть, в письма золотые,
и запрокинув лицо, напрягая затылок,
ты разбираешь по ним отдаленные вести
из прокаленной земли полуострова-чаши,
из черепичного рая, пыльного сада...
Неисчислимы, длинные очи следят винограда,
как пожухает листва, осыпая ограду,
как зарумянится слива от долгого взгляда.

Теплый, тройного замеса воздух, и свет золотеет,
сбился туман, разворошенный солнечной спицей.
Из Феодосии-Кафы тянется сонная птица,
пристально, умно глядит, а сказать не умеет.

Или душа караима в пестрой повязке?
Или еще генуэзским стеклом отольет оперенье?
Горного воздуха низки, пухлого облака связка,
благоухание детской молитвы вечерней.

1977

IV



* * *

С рожденья, сколько помню — степь и снег,
я ощущала — дышат у затылка,
и жизнь — не сложнее, чем развилка
осенняя: и грязь, и дождь смурной,
земля остыла, смерзся перегной...
Но как царевна в чаше ледяной,
не умерла, а спит и грезит пылко.

Что знаем о стране? Что нет колбас,
что бредим и бодем, что в неволе,
но эти новости перекрывает бас
простора небывалого. И в боли
не сознаем, что это диким полем —
родимым, кровным — сманивает нас.

Неосмыслима с родиною связь,
а наши дни — листва для перегноя.
Она крушит меня, не изменясь,
не как крошат комок земли весной:
вдыхая, и завися, и гордясь —
а так, как в осень сбрасывают грязь
с подошв — и оставляют под стеною.

1978

* * *

Что делать, брат?
Как Хлебников, кочуя,
каспийским побережьем грань косую
пройти, потом уставя смутный взгляд
на туркам подарённый Арарат,
и умереть водянкою в деревне?
Что делать, брат?

Елабуга и хвойная темница
там, где веревку мылит Царь-девица
для двери, за которой рай ли, ад?
Забыта безымянная могила.
Что делать, брат?

По коммуналкам ленинградским вволю
намыкаться и умереть от боли
(вспеты тени и Петров посад),
найти прохладу почерневшей крови,
мемориал прославив в Комарове.
Что делать, брат?

Есть чердаки в немецких городишках
для тех, кто розы прививал к не слишком
разросшимся дичкам советских кущ,
для Авеля, назвавшегося — Каин
где отыскать окраину окраин?
Что делать, брат?

1978

* * *

Загляделась я в полынью.
На невнятную жизнь мою
по воде неясной гадаю —
закраснелась вода, зажглась:
это облако, отразясь,
занебесным коснулось краем.

1978

ПАМЯТИ ЭДИТ СЁДЕРГРАН

Переводима через реку лет
по утлону мосту моих словес
она ступает, скрытая туманом.
Я чувствую порой ее тепло,
дыханье мертвых паром облегло
нас. В пелене плеснет весло.
Как рассказать сирени запах пьяный,
любовь, чахотку, демона крыло?

Вот он, родной словесности простор:
рифмуется «топор» и «приговор»,
нога скользит в крови и темных росах,
и жутко мне самой на берегу —
я соли кровавой не сберегу,
и если нас подстрелят на бегу,
останется чужой и безголосой
она в могиле, в роцинском снегу.

1978

* * *

На улицах города, где снег и ветер,
где мы узнали, что человек смертен,
где мы пьянели в глухом цветенье,
а ночь прикапливала наши тени,
я присягаю вам в прежней вере.
О, бредни о Бабеле и Бодлере,
о, девушки в бабушкиных перчатках,
дворянской складки, железной хватки,
с коими мне ни в чем не тягаться,
я не забыла о прежнем братстве.
Прощай же, полдень любви несчастной,
желанья славы, молитвы страстной,
когда вступали, не зная броду,
в свершенья пору, в забвенья воду.

1978

* * *

... звали его Китом,
шел с приятелем, тот...
Посмотри, как время нас выдает,
я хочу сказать — бремя
слепорожденной жизни не позорней иных,
смерть во дворе-колодце, на глазах у старух —
новое поле брани.

Дослужась до шиша в кармане,
мы, заложники вечности, как утверждал поэт, —
лес букварный в распаде. А в тридцать лет
кровь подводит итоги.
Ты убит ударами карате,
племя новой культуры не мы, а те —
каратисты и йоги.

Осыпается мой словарный лес,
скоро будем мертвы во имя чудес
эры с привкусом серы,
опустеет окраин нелепый стан,
и пойдем на небо под барабан,
как когда-то шли в пионеры.

Я молчу — это время хрипит во мне:
исчезают в огне, колыме, тюрьме
те, чьи губы любили,
те, кто плакали под хмельком,
кого кованым каблуком
прямо в сердце тугое били.

1978

* * *

Лепки небрежной лицо, Евину глину
ты переносишь на холст — тление в тленье.
Годы теплом надышали эти морщины,
знаки старенья.
Сердца и нынче не жаль — на половину!
Время его размывает, скоро ли сманит?
Были повинны в любви, ею палимы...
Вечная память!
Наши тела по ночам — робкие свечи —
светятся, погружены в кожу дивана,
и бесконечна стоит, безветренна вечность,
не задувает...
И пока смерть молода, нас не хватилась,
чтобы в земле залатать узкие щели,
мимо портреты глядят, делают милость,
не узнавая творца, не замечая модели.

1978

* * *

Обернулся ко мне и глядит золотыми глазами
на узлы предотъездного лета, на горький отечества дым,
огрубело лицо мое, строчки совсем одичали,
я печалюсь и старюсь, а ты умирал молодым.

И куда от шиповника, от подмосковного дерна,
от болезни и юности, жадной затяжки впотьмах?
Но стоит над судьбой невесомое пламя Фавора,
освещая надежду и память — и не остывающий страх.

За плечами стихи, и любовь, и Господняя милость,
стрекозиные крылья удачи, просторные горсти труда...
Золотыми глазами глядишь и молчишь, как приснилось,
на узлы предотъездного лета, на слезы стыда.

1979

* * *

Всадник бел на оснеженной горе.
Дрогнет яблоко в кожуре,
зарумянясь на замше перчатки.
Вышли деды: «Здравствуйте, генерал!»
Овчина шапок. «Здравствуйте, генерал!»
Будь вам наши яблоки сладки».

Мне приснился Скобелев-генерал,
невысокий, утопанный перевал,
крап кровавый и кремень Шипки.
Турок нам то что твой басмач,
славянин — воитель и бородач —
переможет, конечно, в сшибке.

Заведу избу, а в ней образа,
а под ними картинку — в горах гроза,
и гарцует Скобелев на лошадке...
Вот и пристань — здравствуйте, генерал!
Коммунисты — слышали, генерал?
Нам бывшего сумерки сладки.

1979

* * *

Я повстречала равнину в рваной рогоже,
я полюбила холмы, оползавшие древнею кожей,
крупную соль подморозка, мятную стужу,
голубизны родника — око наружу.

Мне говорят: «Обернитесь на жизнь и воспойте строенья!»
Глянула я — и прыщавый бетон оцарапал мне зренье,
а присмотреться — железные ребра сочатся простудой,
сетки ячеек жилых держатся чудом.

А за домами закат яркий играет
и черноморска-равнина бредит о рае...
Хляби лежат под землей, мерзлые трубы.
Слабых лесов городских синие губы.

Но обмороженным сердцем, робостью ока
я прилепилась к равнине, спящей глубоко
под голубой чешуею рыбьего меха,
где полуглавья холмов — форма для эха.

1979

* * *

Мы в детстве спали на печи беленой,
и брата и сестер скрывал отцов тулуп,
и воздух родины, густой, томленный,
всей сладью оседал у спящих губ.
А время – неподкупный лесоруб
следило издали за порослью зеленой.

Ладоням памятно живых биенье птиц,
а похороны отдают кутьею,
и бабушка, в мельканьи светлых спиц
уже отделена от нас чертою
улыбок навсегда отцветших лиц
и паром над кладбищенской травой.

1980

РОДСТВЕННИКИ

1

У мамы был любовник. Он приходил
каждый вечер, ее жалея.
Пробираясь по коридору вдоль бочек
с прелой солониной, одичалым пивом,
«Темные аллеи, – бормотал, – темные аллеи...»

Мамин любовник погиб на Дону.
Она молила морфию в аптеке,
грызла фуражку, забытую им.
Его зарыли в песок, вниз лицом.
Кто скажет, сколько пуль спит в этом человеке?

Как хорошела в безумьи, как отходила
и серебрела душа, втянута небом,
а за вагонным окном и мело и томило
всей белизною судьбы, снегом судебным.

Как хорошела. Лозой восходили к окошку
кофты ее рукава, прозелень глаза,
и осыпалась судьба крошевом, крошкой.
Не пожила. И не пожалела ни разу.

Родственница. Девятнадцатый год. Смерть в вагоне.
Бабы жалели и рылись в белье и подушке:
брата портрет — за каким Сивашом похоронят? —
да образок с Соловков — замещение иконе,
хлебные крошки, обломки игрушки...

Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься в прислугу.
Наголодались в Поволжье до смерти, до рвоты,
слава-те Господи, не поглодали друг друга.

Зашевелились холмы серою смушкой.
Колокола голосят, как при Батые.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.

Хлеб с волокном лебеды горек и мылист,
режется в черной косе снежная прядка...
Так за семью в эти дни тетки молились,
что до сих пор на душе страшно и сладко.

Хвойной, хлебной, заросшей, но смысл сохранившей
и речь
родине среднерусской промолвив «прости»,
я просила бы здесь умереть, чтобы семечком лечь
в чернопахотной смуглой горсти.

Мне мерещилась Курбского тень у твоих рубежей
в дни, когда я в Литве куковала, томясь по тебе.
Ты таких родила и вернула в утробу мужей,
что твой воздух вдохнет Судный ангел, приникнув
к трубе.

Ибо голос о жизни Нетленной и Страшном Суде
спит в корнях чернолесья, глубинах горячих полей,
и нетвердо язык заучив, шелестя о судьбе,
обвисают над крышами крылья твоих тополей,

Голубиная Книга и горлица, завязь сердец.
Сытный воздух, репейник цветущий, встающий стеной.
Пьян от горечи проводов, плачет и рвется отец,
и мохнатый обоз заскользит по реке ледяной.

«Обоз мохнатый по реке скользил, — твердит Овидий, —
и стрелы падали у ног, а геты пили лед...»
Изгнанничество, кто твои окраины увидит,
изрежется о кромку льда и смертного испьет.

И полисы не полюса, и те же в них постройки,
и пчелы те же сохранят в тяжелых сотах мед,
но с погребального костра желанный ветер стойкий
в свои края, к своим стенам пустую тень несет.

Нас изгоняют из числа живых. И в том ли дело,
что в эту реку не глядеть, с чужого есть куста?
Изгнанничество, в даль твою гляжу остолбенело,
не узнавая языка. И дышит чернота.

Сним на чужбине родной.
Месяц стоит молодой
над Неманом чистым, над тихой Литвой,
тот же — в Москве и Курске.
Речи чужой нахлебавшись за день,
так же, попав в Гедиминову сень,
здесь засыпал Курбский.

«Милое дело отчизна — полон,
черный опричник, малиновый звон
во славу Отца и Сына.
Жизнь коротка. А с тяжелой женой
можно заспать на чужбине родной
память. А смерть обошла стороной.
Милое дело — чужбина».

Как образуется ложь на губах?
Слов раскаленных не выстудил страх,
желчь не разъела кристаллов словесных.
Жилиста правда и ломит хребет
кровным. И правда твоя предстает
Курском разбитым, сожженным Смоленском.

«Господи, их порази, не меня!
Господи, этих прости — и меня!
Боже, помилуй иуду, иуду!..»
И засыпает в глубоких слезах.
Сердце плутает в литовских лесах,
слово забывши, не веруя в чудо.

Но большеглазых московских церквей
свет ему снится и голос: «Андрей,
зерна — страданье, а всходы — спасенье!»
Первый петух закричал на шестке,
клевера поле в парном молоке,
зерна, прилипшие к мокрой щеке,
и — сквозь зевоту жены — «Воскресенье!»

1981

* * *

Здесь, где живу и точило жизни
истачиваю сердце всякий день,
здесь, где со мной умрут мои деревья,
мою деревню оползень накроет,
и жизни след – полировальной тряпкой
дыханья влагу – со стола сотрут,
я так любила, Господи, Твой мир!

Всего родней и ближе поняла
я о Тебе в степи, где травы кровью
вспоили воздух, звезды... Ночь текла
огромными пространствами.

Была
я мельче пыли в вечной этой нови
движения гигантского. Спала –
и вдруг очнулась, зная – в изголовье
два несказанных, радостных крыла.

1981

* * *

Сколько горя, сколько черной боли
приняла я в городе Петровом.
Греемся на пепелище старом,
плачемся на пепелище новом.
С нежностью и тайною оглядкой,
чужестранка в этом мире сиром,
узнаю потемкинские пятки
у атлантов, гениев, кумиров...
Но когда у Ксении Блаженной,
у ее часовни жду рассвета:
— Жено, о блаженнейшая жено,
сколько счастья было, сколько света!

1981

* * *

Пела и на клиросе,
и под небесами,
как звезда, светилась
в деревянном храме.
Обходя без устали
городок—пустыню,
площади и улицы
все перекрестила.
Все согреть старалась
каменное ложе
Ксения Петербургская —
тайная надежда.

1981

* * *

Зима на убыль. Ветер тянет мыльной,
грязь чавкает со вкусом под ногою,
дрожащее пространство и нагое
для глаз затруднено, преизобильно.
Поэт со мной, москвич с лицом изгоя,
взглянув окрест, проговорил: «Морильня».

Но посмотри — телесность, кротость, страх,
предродовое напряженье воли
я чувствую и в поле, и в холмах —
как роженица, путаясь в подоле,
земля в своих границах и морях
встречает полдень в крепости и боли.

Поэт застыл с улыбкою слепой,
над нами к небесам восходит птица...
— И наша жизнь, — я говорю, — постой,
как капля хмеля в чаше золотой,
Бог ведает, во что пресуществится
в отчизне милой, родине святой!

1981

* * *

И репейники звезд, и колодцы воздушной воды
меж созвездий — что духу еще для бессмертья?
Как ресницы влажны, и глаза — соляные пруды,
как луна подоконник косыми крестами пометит
и в единый прощальный сливаются ночью сады.

Плач в апреле, и влажная тяга земная клонит
сердце к восьмиконечной звезде, отразившейся в лужах,
наливается солью луна и выходит в зенит.
Так за время дневное колодезный ворот натружен,
что скрипит, рассыхаясь, и цепь напряженно звенит.

Только звук напряженья, воды соляной зеркала,
отсыревшие спички, дрожащий огонь керосина...
Приближаются сроки — Страстная неделя, осина,
там, где небо с овчинку, и даль, побелев, обмерла.

1981

КИНЕМАТОГРАФ

Прохладнеет. Столетия на рассвете
был город Петербург в молочной вате
залива. Рельсы пахли серебром.
И Райвала, и Царское в цветенье,
на островах гулянья и сирени,
поэт, эсер, студент, городской —
и яшмовое небо над Невой.

В пределах погибающей Пальмиры
чужих земель тогда звучали лиры,
иных наречий складывался стих.
Империи дряхлеющее сердце,
ты всем давало место обогреться,
сгореть в чухотке у твердынь твоих.

Литовский стих у царскосельских статуй,
грузинский — пышноцветный и богатый,
и Сёдергран мистический узор...
И мучит нас, у века на закате,
звук русского стиха, его собратий
как эха отдаленного укор.

1982

* * *

Вечером где-нибудь, пригородной природой,
на пикничке, на обочине, на пяточке,
станем мы наслаждаться незрелым вином и свободой:
я, Евгений безумный с обломком руля в кулаке,
да юродивый бронзовый с жижей болотной в руке,
да зеленый конек с горделивою царскою мордой.

Вечером... Болью и желчью стакан дополна —
лечит... не жалеюсь, нет, не с тобою — с судьбою
вечно — играла, марала, боролась одна,
и если ангел теперь нас покличет трубою,
«Счастлива, слышишь, — скажу, — и свободой больна!»

Что ты трудишь под рогатыми лаврами лоб?
Мозг под землею уложен, как в трубчатой кости,
хриплое пенье Невы, шпиль золотой на погосте,
над чертежом твоим старым пыльного неба захлеб,
тень отлетающих крыл на фабричной коросте.

1982

* * *

И я сложила песни на закате
непостижимой, незабвенной эры,
как некогда, за два тысячелетия,
певец, клянувший небо и Дунай.
В закате, за последней из диаспор,
где трещины земли курятся серой,
в закате, в ломком зареве небесном,
в пыли, на оконечности земли
что проку сердцу в травах приворотных
и притираньях памяти?

Четыре
стихии первородных обступили,
сминают нас и пробуют на вкус...
Прощай, тетрадка, возвращайся в Томы!

1984

* * *

Жизнь занесло в провинцию лета.
Солнце на сломе. Вспышки сирени.
Памяти снились глубокие тени
под коркою света.
Слово «любимый» цвело в гортани,
руки сами смыкались в объятье,
звучком боялась тебя поранить,
шелестом платья.
И наполнялся времени невод
счастьем тяжелым, легкой свободой —
и я забывала темное небо,
черную землю, горькую воду.

1986

* * *

В любви несчастной есть избыток света
и царственная горечь. Столь нелепы
смиренье, ожиданье и мольбы,
и унижение так театрально —
не уломать, не умолить судьбы.

В любви несчастной есть придонный свет,
и не сорвется одинокий голос,
заслышав отклик. Целый мир, как полость
рапана — моря шум, но моря нет.

О, одиночества голубизна,
чужого счастья рабская галера,
и человек с лицом legionера
все так же снится...

1986

* * *

Вечер, вечер. Мед на стеклах,
на закат текут поля,
посмотри, как небо взмокло,
как распарена земля.
Пригибает стебли тяжесть,
по росе бредет зверье.
Что, кукушка, ты расскажешь
про бессмертие мое?

Впрочем, это ли забота?
Растревоженный дождем,
на закате жарким потом
залоснился чернозем.
В нем еще остались силы
на века, а не на дни —
Господи, храни Россию,
родину мою храни!

1987

* * *

Византийская синь. Молочный дым.
Кристаллический иней. Граненый снег.
Голенатым, хмурым и молодым
я запомню тебя навек.
Я запомню сияющий, ломкий наст
и утраты свежую полыню:
на Хованском кладбище страшный пласт —
там сховали подругу мою.
Как потом отворялся колодец сна,
и лечила звездная немота...
Утешенья вода голуба, черна,
обручальным золотом повита.

1987

* * *

Муза гражданской скорби, гражданка Петрова
(время линяет, меняет былой колорит),
только она не стареет, смотрит сурово,
пламя котельной за ней непреклонно горит —
скорби народной... Лампочка тускло мигает.
Что мы — пороли горячку? Смыкали каркас
времени? Дарья, Савраска, Сенная —
все из беспамятства вырвет пылающий газ —
и под луною Сенатскую, спящую глухо...
Тенью от бронзы мерцает бумажный конек,
на невезухе-лошадке писатель-непруха
гиблого слова из лесу вывозит возок.

1987

* * *

А. Сопровскому

Ты прав — расправленный простор,
трава, присоленная снегом,
и в полночь жизни — смутный вздор,
что не излечишься побегом,
судьба... больна... а не страна —
все это было, было, было,
как бы истертое кино
перед глазами зарябило.

По мне же — горсточка тепла,
свободный говор, гонор нищий
и страшная живая мгла,
что за моей спиной свищет
важней.

В любой из наших встреч
сквозь проговорки и усталость —
земная соль, родная речь
тесней смыкается в кристаллы.

1988

* * *

Разве это о ностальгии?
Назревали беды России.
За кустодиевским холстом
одевались в кумач столицы,
наших дедов прекрасные лица
перечеркивало крестом.
На заре бунташного века
пламенела времени ветка,
воздух первым звенел ледком,
как листва, облетали годы,
Бог еще не велел народу
стать гноищем и сорняком,
истребиться в пяти коленах...
Набухали времени вены.
Кто тогда прозревал в ночи,
что смертелен угол наклона:
пломбированные вагоны,
в них картавые палачи.

1988

* * *

Сердечный перебой от боли, не от грусти,
и под ногами дерн так прочен и так груб,
где влажный куст ручья, где разветвление устьев,
где запах ночи, лепесток у губ?

Когда я почала железную ковригу?
А помнишь крупный шрифт поэмы о Петре
и детства круглый свет — под лампой зрела книга
и нежной желтизной мерцала на заре.

Колесный перестук сливается с «Полтавой»:
полки, и взрытый прах, и пылкий Шлиппенбах...
И нить моей судьбы вплелась в судьбу державы,
оставив вкус железа на губах.

1989

* * *

Наши святочные гаданья,
картонный король, валет с алебардой
заслоняют от страха жизни.
Вот шевельнулась смерть на хребте Кавказском,
встала графитной тучей над Украиной,
тычет в затылок: «вести, вестимо, васти...»
и растирает в крошки дешевый ластик,
сотни имен стирая.
В святки раскроем книгу,
распечатаем карты в цветных рубашках,
и парафин в воде, и кофейная гуща
сплавились, слиты в одно: «Сохрани их, Боже!»
Слово в слезах восходит.
Святки. В развале спальни
я и часы наперебой бормочем.
А за окном зима. Под ледяной подошвой
снится реке крещенской купели прорубь.

1989



* * *

Это ветреное небо,
облаков обломки, сколы,
не прошу иного хлеба —
в день октябрьский, невеселый
воздух твой вдыхать тяжелый.
И зачем земля такая,
все родней она и жальче:
то простит и отпускает,
то к подошвам прилипает,
приникает — жарче, жарче...

1989

* * *

Мне никогда не вернуть перепелок в полях
(влажный их куст, возникающий сразу на взлете),
шороха ночью в сарае и — детям на страх
рассказней про кабанов на заросшем болоте.

Бабка учила письму на коротком письме,
путались мамины строчки+ и все-то мне снилось:
невод волос ее темных, и слово ко мне,
слово любви искалеченным золотом билось.

Старое русло моя заливала судьба,
ствол кровеносный полнился помнящей кровью...
Братьев моих голоса, бабок моих ворожба —
что вы сулили, сойдясь по ночам к изголовью?

1989

* * *

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?
Вечером мамина тень обтекала душу,
не знала молитвы, но все же молилась робко.
В сети ее темных волос — золотая рыбка,
ладонь ее пахла йодом... сонная воркотня.

Всею глубиною крови я льну к забытым
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лед по губам разбитым.
Время редеет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко,
и остается — памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
снежными прядями над глубиною невской.

1990

* * *

М. М.

Время чеховской осени, Марк,
для нас — цветов запоздалых.
Еще не вошли во мрак,
вера и твердость, вера и жалость
поддерживают наш шаг.

Я не знаю, как там, а здесь —
пыльные тени солдат Хусейна,
газ отравный, ужас осенний...
И все же ты есть, я есть,
и Иерусалим хрустальный
стекает вниз ручьями огней,
а небо в алмазах отсюда видней,
чем с нашей родины дальней.

Время медленных облаков,
звук струны и луна в ущербе...
Доктор Чехов, не стоило так далеко
заезжать, не стоило знать языков,
чтобы сказать: «Ich sterbe»^{*}.

1990

^{*} Ich sterbe – «Я умираю» (нем.)

* * *

Т. Ц.

Небо помнит больше, чем мы, — не бойся.
Вот, разгораясь, ночь выводит на круги
реку великую, стан у берега, струги,
Нерукотворный Спас над порослью войска.

Есть глубиною в сердце — память. Бывало,
снился мне город за частоколом хищным —
этот улус славянский, это гнездовье птичье —
я никогда такую Москвы не знала.

Небо смыкает смерть и свет воедино,
время не все стирает, почва не все укроет,
древней дорогою, памятью нашей крови —
белые странники в сторону Палестины.

1991

* * *

И вправду, недвижно чуден
Ближне-Восток,
здесь голову главы правительства на блюде
велел подать пророк.
Аятолла в Париже жил когда-то,
Садам – Советам брат,
и наши танки из шестидесятых
в песках горят.
Здесь время закишает на отливе
и вечен Вавилон,
а звезды, как и прежде, говорливы –
звенят: «Армагед-дон!»

1991

* * *

М. Г.

Сизый ангел, приведший в Иерусалим,
и такое прозрачное небо над ним,
а крылья его перепончаты.
Что мне с ним передать воспаленной земле,
где мужают ростки на крови и золе?
Нету писем для северной почты.

Разве это расскажешь? Судьба хороша
тем, что мне не должны ни любви, ни гроша
все, с кем в нежити билась, как в неводе,
чешую обдирая, пробилась — и ах! —
здесь мужчины в таких пожилых пиджаках
припадают к портрету Хомейни.

Мы стоим у «Машбира». Дырявый жилет
прикрывает крыло его. Прошлого нет,
все, что прожито — грубо и начерно.
Но усмешка его, словно оклик впотьмах,
словно он прозревает в кривых небесах
что нам дальше судьбою назначено.

1991

* * *

Жизнь не скудеет, только восходит круто
туда, где еще поют про «червону ругу»,
где пилит сухой можжевельник старик на террасе,
и душный запах смолы кружит голову. Разве
это можно отнять?

 Это уйдет со мною,
и можжевеловый дух не выветрится над тою
землей, где столько огня, печали, любви к былому,
откуда Млечным Путем возвращаться к дому.

1991

* * *

Из мира теней, тенет
дому и граду привет,
где ангел и месяц вместе
вплывают в закатный свет.

Латник в часовне спит,
в лавре от свеч тепло.
Мир тебе, гром-гранит,
сонной реки стекло!

И отзовется: «Нет,
нет твоей тени здесь».
— Есть, — отвечаю, — есмь.
Здесьней судьбы замес,
полость истлевших лет.

1992

* * *

Нежность моя. Деревянные райские птицы
(прости их) сомкнули крылья,
теплятся их тела.
Мама несет керосиновый света круг
в хлев — и коровьи глаза навстречу
блеснут, как сливы в росе.
Все помню: жесткий льняной узелок
скатерти, запах столовых досок,
хлеба надломленный край.
Я прожила наизусть все твои имена,
нежность моя — о чем же ты просишь,
о чем деревянные птицы твои
крыльями бьют всю ночь?

1992

* * *

В этом горчайшем парке еще продолжим гулянья.
Столь он премного воспет, что странно,
что до сих пор деревья выбрасывают почки
и на лугах вороны бродят поодиночке.

Сколько я туфель стоптала, твердя о красотах
его — теням экскурсантов. Кто там
выгуливает ежонка у стены Монплезира —
мы с маленьким сыном в юном, ветшающем мире.

Боскеты его — гравюры, пруды его — акварели,
ты, ускоряя шаг, не шевельнешь даже пыли,
но мы здесь перекликались и не тенями были,
и среди каменных лиц наши лица не каменели.

В этом горчайшем... помнишь? Сова окликает полночь.
Света его луны не смыть и водой Иордана,
не замутить слезами — но позовешь на помощь,
и он задрожит, выплывая из цветного тумана.

1992

* * *

Света холсты на асфальте сыром,
облако пара, как над котлом,
в древнем разломе Геенны:
иллюзион там и кладбище роз.
Иллюзион... И по коже мороз —
знаем мы эти виденья.

Что же захватит с собой впопыхах,
в иерусалимский пылающий мрак
новый пришелец, вступая?
Каплей рубинового стекла
он на холме. И подвижная мгла
плотно его обтекает.

Лица любимых? Их не разглядит.
Сонную воду, зернистый гранит,
серую розу из Блока?
«Степь, мол, кругом...» или «смерть, мол, кругом...» —
что он бормочет в безумье своем,
не разобрать издалёка.

Мускулы снега в пространстве степей,
узкое небо, стеклянный репей,
сливочный свет снегопада,
песни обрывок, оскома во рту,
первый младенческий крик в темноту —
больше не надо, не надо...

1992

ТБИЛИСИ

Я приняла эти выдохи: «хо» и «ара»,
осени привкус — льда, тления, жара,
и непочатую смерть в золоченой клетке
кукольной драмы, где плачут марионетки.

Не затвердила названий, имен. Вспоминаю только
воздуха конус над пепелищем колхов,
тело толпы, плывущей по Руставели,
теплую тьму, как завесу над колыбелью.

И отступила обида моя, угасла,
и воспаленной твоей земле говорю: «прекрасна»,
даже когда ломаешь больные крылья,
бредни кровавые смешивая с былью.

1993

* * *

В кислородном морозе пьянящей любви
вижу губы, широкие очи твои,
и душа просыпается в боли.
И не хочется ей возвращаться на круг —
в наваждение слов и смыкание рук,
в кочевое сиротство неволи.

Но она, задыхаясь от нежности, пьет
этот яд ледяной, этот жалящий мед,
расставания мертвую воду,
и на оклик встает, и покорно идет,
и не помнит уже про свободу.

Что за боль! Только в юности можно стерпеть
это жженье, в крови растворенную медь,
но вдыхая осеннее пламя,
я не знала, что не заговорены мы
от подземного жара, провидческой тьмы
и от нового неба над нами.

1993

* * *

Это почти из романа: ставни скрипят,
и уголь подходит к концу в затяжную зиму,
и лечу я соринкой — во тьме, слепоте, наугад
по заснеженному Иерусалиму.

Это почти из Диккенса: Новый Свет,
семейный очаг, любовь подростка, смятение...
Между землей и небом — лучшей из скреп
золотая наука смиренья,

когда даруется зрение шире и чище — снег,
и смирение учит, баюкает, утешая,
и хрустало и камню твоим во сне
«Иерусалим, — я шепчу, — Иерушалаим».

1993

ДОМ В КРЫМУ

Короста соли. Корка над свежей болью.
Кровь винограда за грубой корой
лозы. Каждой весной
так открывался Крым.

И я не знала тогда, вдыхая
роз запекшихся аромат,
запах граната сладкий,
что за калиткой — Калинов мост,
в прибое — пепел сожженных звезд,
гор омертвелые складки —
это черта, за которой несть
ничего из любимого нами здесь.

Нас уже больше на той стороне, чем на этой. Док-
тор Леонтьев опять со своим лазаретом
в пекле гражданской. Я знала его стариком.
Я любила его. Осыпается дом,
расклеванный ветром.

Нас уже больше на той... За Калинов мост
по мертвой воде, оскальзаясь о камни Стикса,
каждый сон возвращаюсь на дальний погост
в мокрой траве по пояс.

И поют мне птицы

**в Иерусалиме о Киммерии-Крыме,
о том, что сроднясь,
не могу проститься.**

1993

* * *

Все отнимается, все, чем душа жила,
друзья и города уже почти не снятся,
и как вернуться мне и чем мне оправдаться?
Чужую жизнь прожив, перегорев дотла,
несчастною рукой к их стенам прикасаться.

Мы подымались в ночь из глубины.
Тяжелый свет всходил по вертикали
к высотам города, где нас почти не ждали,
и были голоса едва слышны:
«О, помнят ли о нас или, как мы, устали?»

И я входила в дом, в печальное тепло,
и в долгую любовь, где все непоправимо...
Но мой Господь достиг Иерусалима!
Я видела, как горизонтом шло,
гремело облако серебряного дыма.

1994

* * *

Ветер в конце столетья
все грубей и жесточе,
счастлив тот, кто не хочет,
может не замечать, как калечит
все, что мы надышали, сплели...
Ледяное пространство вод и земли
бесплодно, как при потопе.
Нас снимают слоями,
как в лихолетье солому с крыш,
тянет потом и серой,
ветер роет пыль пепелищ,
и ночами в бреду твердишь:
— Дай мне, Господи, веры!

1995

* * *

А. В.

То была роза, в которую я влюбилась, —
декабрьская роза.
Когда говорим «Эдем»,
мы в наших снегах представляем сад
роз в декабре. Я срываю декабрьскую розу,
подобную тем.

Да, когда говорим «Эдем»,
мы в наших снегах представляем дол,
оливой и лавром заросший до плоских небес.
Олень, запутавшийся рогами в розах,
ягненок, лев...

Ни воздыханий, ни слез.

На той стороне оврага, за головами роз
дол Аялона грубый, как парусина,
с тех пор, как солнце Иисуса Навина
оплавило край его. И кровью истек
пылающий городок за стенами из рафинада.
Горы людей, ослов, коз...

Кровь выпущена как надо.

Нет, декабрьская роза, Эдем не волшебный сад.
На подошве праха его холмы, на подкладке крови —
все, как в наших снегах, но только древнее стократ,
и ржавчиной смерти деревьев забрызганы кроны,
и декабрьская роза, тугая, как Божий свиток,
как гнев Господень — на сердце ложится мне.

1996

* * *

В. Родионову

Всхлипнуть, припасть к офицерской шинели —
особый колониальный восторг.
Запад есть Запад — а это Восток.
Видишь, куда мы с тобой залетели?
Здесь застоялся воздух знакомый
пятидесятих, повернутых вспять.
Заповедник детства.

Опять, опять
апельсином и золотом пахнут погоны
на кителях молодых отцов.
Как много нас за столом, как тесно!
Сон младенчества.

Клан родовой
сомкнут, как крона, над головой —
вечного дерева. Запах его телесный.

Не просыпаться. В губах матерей
вкус серебра и мяты,
как бессмертны и как богаты
мы были любовью их...
Нас уносили в сон, в темноту:
очнешься — кругом пустыня в цвету,
тихое пение за стеною
о ямщике, что клонится в снег,
о роднике, где горячий свет
над ледяною водой живою.

1996

СОДЕРЖАНИЕ

I

Я не ишу плюща на стене, повилики в ограде... ..	7
Пьяный волк выходит на охоту... ..	8
Пойдем наугад в летний град, летний свет, Летний сад... .	9
Мне в этом городе не выпасть из плеяды... ..	10
ПОДВАЛ	11
– То ли вправду запахло войной, то ли почудилось мне ...	12
О, это сумасшествие – не сад... ..	13
Как зацветает время у виска... ..	14
Картина Брейгеля. На ней... ..	15
Русской сказки гусиные крылья... ..	16
Не спится... ..	17
Едва ли не с начала сентября... ..	18
Овраги да буераки... ..	19
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ	20
ЖЕНА ЛОТА	21
Дрожат и плещут за окном... ..	23
Яблоко поднял в руке, а губы сказали – «Люблю»... ..	24
Этот грустный и прекрасный мир... ..	25
Когда так хочется, чтобы любили... ..	26
По вечеру в каверзных санках... ..	27
Хорош роман эпистолярный... ..	28
Разлука начиналась так... ..	29
А я тогда не поняла... ..	30
Пустоты полночи. Земля перепревать ложится... ..	31
Цветут фабричные огни... ..	32
Коловращенье воздуха и толп... ..	33
Лес в грозе. Растворяется в пламени лес... ..	34
Когда на деревню плещет гроза кипятком... ..	35
Там, где Владимир-город жил... ..	36
ДЕКАБРЬ	37

II

Рот – словно трещина в глиняной теплой степи... ..	38
Нет нам друзей на свете. Мы с тобою вдвоем... ..	39
СТИХИ СЫНУ	
1. Вечерней влагою полна листва... ..	40
2. Хлебный ангел, ангел снежный, ангел, занятый косьбой...	41

Сиротской материей в узлах – в буграх степь...	42
Плотней, чем в смерть, в ночную пелену...	43
Медногубая музыка осени. Бас-геликон...	44
Город черен и точён белой ночью...	45
Все протяженьё брошенной столицы...	46
ПАСТОРАЛЬ	47
ЛЕТНИЙ САД	
1. Ты зачем, Летний сад, припадаешь к губам...	48
2. Дроги твоих мастеров...	49
Подняла незаметно голову и увидела – золотой...	50
И – кончилась смерть. Снова запели птицы...	51
Нынче судьбу мою переходишь вброд...	52
Лето. Солнечные плесы. Ветер на полях...	53
Когда волхвы не зажигали свеч...	54
На болотистой почве...	56
Ничего не проси у страны – ни любви, ни суда...	57
Мы выживем, не вырем от беды...	58
В город Пушкин поедем, друзей навестим, посчитаем потери...	59
Два горбоносых профиля. Обоих...	60
Век можно провести, читая Геродота...	62
Вот и ты возвращаешься в благословенную землю...	63
Я на улицу выйду. Смердит...	64
Слепой пастух и каменные овцы...	65
Мы выехали из лесу. Вповал...	66
III	
1. И русского стиха прохладный, влажный сруб...	67
2. Ты увидишь монгола в коровьей одежде до пят...	68
3. Сидят большие мужики...	69
4. Из ночной столицы кукушка...	70
5. Для российской жены на чужбине что станет милей?..	71
Могилы Батюшкова в Вологде...	72
НОЧЬ В ФЕРАПОНТОВО поэма	73
Вот кольцо с малахитом. И в каждой прожилке – зима...	78
ПАМЯТИ ДРУГА	
1. Смерть – домовитая ласточка. Каждому сору...	79
2. И вот очнулось нищее страданье...	80
СТИХИ О МУЗЫКЕ	
1. Зачем свирель доносится в окно?..	81
2. Итальянец Марчелло, ты сладостным воздухом дышишь...	82
Марсия дудкой клянусь, Марсия кожей...	83
Я говорю: мой птичий профиль жалок...	84
Грубо отесан и опоясан собор...	85
СПАС-НА-КРОВИ	86
Лепесток горбатый розы...	87

Детства опара...	88
Пусть доплывет пловец...	90
Вот я прямо иду, на север. Морошка, корни...	91
СМУТНОЕ ВРЕМЯ	92
В воздухе пахнет жильем...	94
СУДАК	
1. Странный пейзаж открывается разуму духом узрящим...	95
2. Нет, это все-таки Крым, Сурожа древнего холм!...	96
3. Темное, темное тянем питье из остуженной чаши...	97
4. Теплый, тройного замеса воздух, и свет золотест...	98
IV	
С рожденья, сколько помню – степь и снег...	99
Что делать, брат?...	100
Загляделась я в полыню...	101
ПАМЯТИ ЭДИТ СЁДЕРГРАН	102
На улицах города, где снег и ветер...	103
... звали его Китом...	104
Лепки небрежной лицо, Евину глину...	105
Обернулся ко мне и глядит золотыми очами...	106
Всадник бел на оснеженной горе...	107
Я повстречала равнину в рваной рогоже...	108
Мы в детстве спали на печи беленой...	109
РОДСТВЕННИКИ	
1. У мамы был любовник. Он приходил...	110
2. Как хорошела в безумьи, как отходила...	111
3. Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты...	112
4. Хвойной, хлебной, заросшей...	113
5. «Обоз мохнатый по реке скользил, – твердит Овидий...	114
6. Спим на чужбине родной...	115
Здесь, где живу и точило жизни...	117
Сколько горя, сколько черной боли...	118
Пела и на клиросе...	119
Зима на убыль. Ветер тянет мыльней...	120
И репейники звезд, и колодцы воздушной воды...	121
Как ни круто время...	122
КИНЕМАТОГРАФ	123
Вечером где-нибудь, пригородной природой...	124
И я сложила песни на закате...	125
Жизнь занесло в провинцию лета...	126
В любви несчастной есть избыток света...	127
Вечер, вечер. Мед на стеклах...	128
Византийская синь. Молочный дым...	129
Муза гражданственной скорби, гражданка Петрова...	130
Ты прав – расправленный простор...	131

Разве это о ностальгии?..	132
Сердечный перебой от боли, не от грусти...	133
Наши святочные гаданья...	134

V

Это ветреное небо...	135
Мне никогда не вернуть перепелок в полях...	136
Вы мне ворожите, родные города...	137
Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве...	138
Время чеховской осени, Марк...	139
Небо помнит больше, чем мы, – не бойся...	140
И вправду, неподвижно чуден...	141
Сизый ангел, приведший в Иерусалим...	142
Жизнь не скудеет, только восходит круто...	143
Из мира теней, тенет...	144
Нежность моя. Деревянные райские птицы...	145
В этом горчайшем парке еще продолжим гулянья...	146
Света холсты на асфальте сыром...	147
ТБИЛИСИ	148
В кислородном морозе пьянящей любви...	149
Это почти из романа: ставни скрипят...	150
ДОМ В КРЫМУ	151
Все отнимается, все, чем душа жила...	153
Ветер в конце столетья...	154
То была роза, в которую я влюбилась...	155
Всхлипнуть, припасть к офицерской шинели...	156